

Литрес ≡ Классика

Владимир Гиляровский

МОИ СКИТАНИЯ



Владимир Алексеевич Гиляровский

Мои скитания

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73984322

*В. Гиляровский Мои скитания. Москва газетная.: Литрес Классика;
Москва; 2026*

Аннотация

Владимира Алексеевича Гиляровского, известного журналиста и писателя, знала вся Москва – извозчики, торговцы, полицейские, журналисты, писатели, художники – перечислять можно долго. Но и он знал Москву, как никто другой. Его жизнь богата событиями и встречами, в ней было все – лишения, невзгоды, преодоления, взлеты, его книги стали классикой мемуарного жанра.

«Мои скитания» – “повесть бродяжной жизни” – Гиляровский назвал книгой «самой любимой из всех, написанных мною». С необыкновенной живостью и непосредственностью описаны в ней молодые годы будущего писателя. Главный персонаж – активный свидетель скитания многих простых людей, подобных ему. Он запечатлел беглого матроса Китаева, бурлака Костыгу, атамана Репку, солдата Орлова, нищих актеров, бедных газетчиков – у каждого из них своя судьба, свой путь в жизни.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	55
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Владимир Гиляровский
Мои скитания

ЛитРес

библиотека

© «Литрес», 2026

Глава первая

Детство

Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60-х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. «Идиот». Учителя и сальто-мортале.



Бесконечные дремучие, девственные леса вологодские сливаются на севере с тундрой, берегом Ледовитого океана, на востоке, через Уральский хребет, с сибирской тайгой, которой, кажется, и конца-края нет, а на западе до моря тянутся леса да болота, болота да леса.

И одна главная дорога с юга на север, до Белого моря, до

Архангельска – это Северная Двина. Дорога летняя. Зимняя дорога, по которой из Архангельска зимой рыбу возят, шла вдоль Двины, через села и деревни. Народ селился, конечно, ближе к пути, к рекам, а там, дальше глушь беспросветная да болота непролазные, диким зверем населенные... Да и народ такой же дикий блудился от рождения до веку в этих лесах... Недаром говорили:

– Вологжане в трех соснах заблудились.

И отвечали на это вологжане:

– Всяк заблудится! Сосна от сосны верст со сто, а меж соснами лесок строевой.

Родился я в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся.

В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота. А за этими болотами скиты раскольничьи¹, куда доступ был только зимой, по тайным нарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить, а летом на шестах пробираться приходилось, да и то в знакомых местах, а то попадешь в болотное окно, сразу провалишься – и конец. А то чуть с кочки оступишься – тина засосет, не выпустит кверху человека и затянет.

¹ Люди древнего благочестия – звали они себя. (Все подстрочные примечания принадлежат автору. – Ред.)

На шестах пробирались. Подойдешь к болоту в сопровождении своего, знакомого человека, а он откуда-то из-под корней шесты трехсаженные несет.

Возьмешь два шеста, просунешь по пути следования по болоту один шест, а потом параллельно ему, на аршин расстояния – другой, станешь на четвереньки – ногами на одном шесте, а руками на другом – и ползешь боком вперед, передвигаешь ноги по одному шесту и руки, иногда по локоть в воде, по другому. Дойдешь до конца шестов – на одном стоишь, а другой вперед двигаешь. И это был единственный путь в раскольничьи скиты, где уж очень хорошими пряниками горячими с сотовым медом угощала меня мать Манефа.

Разбросаны эти скиты были за болотами на высоких местах, красной сосной поросших. Когда они появились – никто и не помнил, а старики и старухи были в них здесь родившиеся и никуда больше не ходившие... В белых рубахах, в лаптях. Волосы подстрижены спереди челкой, а на затылке круглые проплешины до кожи выстрижены – «гуменьшко» – называли они это остриженное место. Бороды у них косматые, никогда их ножницы не касались – и ногти на ногах и руках черные да заскорузлые, вокруг пальцев закрюченные, отроду не стриглись.

А потому, что они веровали, что рай находится на высокой горе и после смерти надо карабкаться вверх, чтобы до

него добраться, – а тут ногти-то и нужны². Так все веровали и никто не стриг ногтей.

Чистота в избах была удивительная. Освещение – лучина в светце. По вечерам женщины сидят на лавках, прядут «куделю» и поют духовные стихи. Посуда своей работы, деревянная и глиняная. Но чашка и ложка была у каждого своя, и если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки или попил от ковша, то она считалась поганой, «обмирщенной» и пряталась отдельно.

Я раза три был у матери Манефы – ее сын Трефилий Спиридоньевич был другом моего «дядьки», беглого матроса, старика Китаева, который и водил меня в этот скит...

– Смотаемся в поморский волок, – скажет, бывало, он мне, и я радовался.

Волок – другого слова у древних раскольников для леса не было. Лес – они называли бревна да доски.

Да и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало, спросишь:

– Далеко ли до Ватланова?

– Волок да волок – да Ватланово.

– Волок да волок – да Вологда.

Это значит, надо пройти лес, потом – поле и деревушку, а за ней опять лес, опять волок.

Откуда это слово – а это слово самое что ни на есть древнее. В Древней Руси назывались так сухие пути, соединяю-

² Легенды искания рая с XII века.

щие две водные системы, где товары, а иногда и лодки перевозакивали от реки до реки.

Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался волоком. Да и верно: взять хоть поморский этот скит, куда ни на какой телеге не проедешь, а через болота всякий груз приходилось на себе волочь или на волокушах – нечто вроде саней, без полозьев, из мелких деревьев. Нарубят, свяжут за комли, а на верхушки, которые не затонут, груз кладут. Вот это и волок.

– Не бегай в волок, волк в волоке, – говорят ребятишкам.

Вологда. Корень этого слова, думаю, волок и только волок.

Вологда существовала еще до основания Москвы – это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда – рисуется мне так.

Было на месте настоящего города тогда поселенье, где жили новгородцы, которое, может быть, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться.

– Волок да волок, волок да волок, а там и жильё.

И невольно останется в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жильё стало: – Вологда.

– Волок да волок...

Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева, а управ-

ляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем как на письмах с Кубани значилось Усатому. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 году Екатериной ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Олсуфьеву, тоже участнику кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белоозера, через год после службы в имении женился на шестнадцатилетней дочери его Надежде Петровне.

Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были завзятые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу, в одиночку с рогатиной ходили на медведя. Дед чуть не саженого роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой.

Моя бабушка, Прасковья Борисовна, и моя мать, Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была сафьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она ее

никому не показывала и читала только, когда мы были втроем. Может быть, она сожгла ее во время болезни? Я хорошо помню одно из стихотворений про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле.

Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца с семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.

Бежал в сечь запорожскую,
Владеть конем и саблей научился...

Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:

– Верно! – И начнет свой рассказ о запорожцах.

Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слышал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедмитрия: когда на коронацию Димитрия, рассказывали старики кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их расположили возле самого Красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, под-

держиваемый боярами, должен был садиться.

– Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся, – рассказывали депутаты своим детям.

– Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видали...

Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку да прямо, без стремени, прыг в седло – и как врос. И все разом:

– Це наш Грицко!

А он мигнул нам: помалкивай, мол. Да и поехал.

И вспомнил я тогда на войне моего деда, и вспоминаю я сейчас слова старого казака и привожу их дословно. Впоследствии этот рассказ подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко.

Учиться читать я начал лет пяти. Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей. Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разносчика: А (тогда написано было «аз») – апельсины. Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. Буки – торговец блинами, Веди – ветчина, мужик с окороком, и т. д. На некоторых страницах три буквы на одной. Например:

У, Ферт и Хер – изображен торговец в шляпе гречневиком с корзиной и подпись: «У меня Французские Хлебы». Далее следуют страницы складов: Буки-Аз – ба, Веди-Аз – ва, Глаголь-Аз – га. А еще далее нравоучительное изречение

вроде следующего:

«Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение».

В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинками. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю.

Вскоре купил мне дед на сельской ярмарке другую азбуку, которая была еще интереснее. У первой буквы А изображен мужик, ведущий на веревке козу, и подпись: «Аз. Антон козу ведет».

Дальше под буквой Д изображено дерево, в ствол которого вставлен желоб, и по желобу течет струей в бочку жидкость. Подписано: «Добро. Деревянное масло».

Под буквой С – пальмовый лес, луна, показывающая, что дело происходит ночью, и на переднем плане спит стоя, прислонясь к дереву, огромный слон, с хоботом и клыками, как и быть должно слону, а внизу два голых негра ручной пилой подпиливают пальму у корня, а за ними десяток негров с веревками и крючьями. Под картиной объяснение: «Слово. Слон, величайшее из животных, но столь неуклюжее, что не может ложиться и спит стоя, прислонясь к дереву, отчего и называется слон. Этим пользуются дикие люди, которые подпиливают дерево, слон падает и не может встать, тут ди-

кари связывают его веревками и берут».

Дальше в этой книге, обильной картинками, также священная история.

На горе Арарат стоит ковчег в виде огромной барки, из которой Ной выгоняет длинной палкой всевозможных животных от верблюда до обезьян.

Помнится еще картинка: облака, а по ним на паре рысаков в развевающихся одеждах мчится, стоя на колеснице, Илья-пророк... Далее берег моря, наполовину из воды высунулся кит, а из его пасти весело вылезает пророк Иона.

Хорошо помню, что одна из этих азбук была напечатана в Москве, имела синюю обложку, а вторая – красную с изображением восходящего солнца.

Потом меня стала учить читать мать по хрестоматии Галахова, заучивать стихотворения и писать с прописи, тоже нравоучительного содержания.

Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам.

Отец вскоре получил место чиновника в губернском правлении, пришлось переезжать в Вологду, а бабушка и дед не захотели жить в лесу одни и тоже переехали с нами. У деда были скоплены небольшие средства. Это было за год до объявления воли во время крепостного права. Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что дед и отец поль-

зовались особенной любовью. За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляющими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались. Здесь в нашу глушь не показывались даже местные власти, а сами помещики ограничивались получением оброка да съестных припасов и дичи к Рождеству, а сами и в глаза не видали своего имения, в котором дед был полным властелином и, воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права: жили по-казачьи, запросто и без чинов.

В Вологде мы жили на Калашной улице в доме купца Крылова, которого звали Василием Ивановичем. И это я помню только потому, что он бывал именинник под Новый год и в первый раз рождественскую елку я увидел у него. На лето мы уезжали с матерью и дедом в имение «Светелки», принадлежащее Наталии Александровне Назимовой.

Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка, ходила стриженная и дружила с нигилистами. «Светелки» – крохотное имение в домшинских непроходимых лесах, тянущихся чуть ли не до Белого моря, стояло на берегу лесной речки Тошни, за которой ютились раскольничьи скиты, куда добраться можно только было по затесам, меткам на деревьях.

Назимова, дочь генерала, была родственница исправника Беляева и родственница Разнатовских, родовитых дворян, отец которых был когда-то другом и сослуживцем Сперан-

ского и занимал важное место в Петербурге. Он за несколько лет до моего рождения умер, а семья переселилась в Вологду, где у них было имение. Несмотря на родственные связи, все-таки Назимовой пришлось эмигрировать в Швейцарию вместе с доктором Коробовым, жившим в Вологде под строжайшим надзором властей. С тех пор ни она, ни Коробов в Вологде не бывали. В это время умерла моя бабушка, а вскоре затем, когда мне минуло восемь лет, и моя мать, после сильной простуды.

Мы продолжали жить в той же квартире с дедом и отцом, а на лето опять уезжали в «Светелки», где я и дед пропадали на охоте, где дичи всякой было невероятное количество, а подальше, к скитам, медведи, как говорил дед, пешком ходили. В «Светелках» у нас жил тогда и беглый матрос Китаев, мой воспитатель, знаменитый охотник, друг отца и деда с давних времен.

Еще при жизни матери отец подарил мне настоящее небольшое ружье мелкого калибра заграничной фабрики с золотой насечкой, дальнобойное и верное. Отец получил ружье для меня от Н.Д. Неелова, старика, постоянно жившего в Вологде в своем большом барском доме, наискось от нашей квартиры. Я бывал у него с отцом и хорошо помню его кабинет в антресолях с библиотечными шкафами красного дерева, наполненными иностранными книгами, о которых я после уже узнал, что все они были масонские и что сам Неелов, долго живший за границей, был масон. Он умер в конце

60-х годов столетним стариком, ни у кого не бывал и никого, кроме моего отца и помещика Межакова, своего друга, охотника и собачника, не принимал у себя, и все время читал старые книги, сидя в своем кресле в кабинете.

На охоту в «Светелки» приезжал и родственник Назимовой, Николай Разнатовский, отставной гусар, удалец и страстный охотник. Он меня обучал верховой езде и возил в имение своей жены, помнится, «Несвойское», где были прекрасные конюшни и много собак. Его жена, Наталья Васильевна, урожденная Буланина, тоже любила охоту и была наездницей. Носились мы как безумные по полям да лугам – плетень не плетень, ров не ров – вдвоем с тетенькой, лихо сидевшей на казачьем седле – дамских седел не признавала, – она на своем арабе Неджеде, а я на дядином стиплере Огоньке. Николай Ильич еще приезжал в город на день или на два, а Наталья Васильевна никогда: уж слишком большое внимание всего города привлекала она. Красавица в полном смысле этого слова, стройная, с энергичными движениями и глубокими карими глазами, иногда сверкавшими блеском изумруда. На левой щеке, пониже глаза на матово-бронзовой коже темнело правильно очерченное в виде мышки, небольшое пятнышко, покрытое серенькой шерсткой.

Но главной причиной городских разговоров было ее правое ухо, раздвоенное в верхней части, будто кусочек его аккуратно вырезан. Историю этого уха знала вся Вологда и знал Петербург.

Николай Ильич Разнатовский поссорился с женой при гостях, в числе которых была тетка моей мачехи, только кончившая институт и собиравшаяся уезжать из Петербурга в Вологду. Она так рассказывала об этом.

– После обеда мы пили кофе в кабинете. Коля вспылил на Натали, вскочил из-за стола, выхватил пистолет и показал жене.

– Стреляй! Ну, стреляй! – поднялась со стула Натали, сверкая глазами, и застыла в выжидательной позе.

Грянул выстрел. Звякнула разбитая ваза, мы замерли от страшной неожиданности. Кто-то в испуге крикнул «доктора», входивший лакей что-то уронил и убежал из двери...

– Не надо доктора! Я только ухо поцарапал, – и Коля бросился к жене, подавая ей со стола салфетку.

А она, весело улыбаясь, зажала окровавленное ухо салфеткой, а другой рукой обняла мужа и сказала:

– Я, милый Коля, больше не буду! – И супруги расцеловались.

Что значило это «не буду», так до сих пор никто и не знает. Дело разбиралось в Петербургском окружном суде, пускали по билетам. Натали показала, что она, веря в искусство мужа, сама предложила стрелять в нее, и Коля заявил, что стрелял наверняка, именно желая отстрелить кончик уха.

Защитник потребовал, чтобы суд проверил искусство подсудимого, и действительно был сделан перерыв, назначена экспертиза, и Коля на расстоянии десяти шагов всадил четы-

ре пули в четырех тузов, которые держать в руках вызвалась Натали, но ее предложение было отклонено. Такая легенда ходила в городе.

Суд оправдал дядю, он вышел в отставку, супруги поселились в вологодском имении, вот тогда-то я у них и бывал.

Когда отец мой женился на Марье Ильиничне Разнатовской, жизнь моя перевернулась. Умер мой дед, и по летам я жил в Деревеньке, небольшой усадьбе моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнатовской, добродушнойшей полной старушки, совсем непохожей на важную помещицу-барыню. Она любила хорошо поесть и целое лето проводила со своими дворовыми, еще так недавно бывшими крепостными, варила варенья, соленья и разные вкусные заготовки на зиму. Веза банок отправлялись в Вологду. Бывшие крепостные не желали оставлять старую барыню, и всех их ей пришлось одевать и кормить до самой смерти. Туда же после смерти моего деда поселился и Китаев. Это был мой дядька, развивавший меня физически. Он учил меня лазить по деревьям, обучал плаванию, гимнастике и тем стремительным приемам, которыми я побеждал не только сверстников, а и великовозрастных.

– Храни тайно. Никому не показывай приемов, а то они силу потеряют, – наставлял меня Китаев, и я слушал его.

Но о нем будет речь особо.

Итак, со смертью моей матери перевернулась моя жизнь. Моя мачеха, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в первый класс гимназии, но «светские» манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнатовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери, институток: и сел не так, и встал не так, и ешь, как мужик! Допекали меня милые тетеньки. Как-то летом, у бабушки в усадьбе, младшая Разнатовская, Катя, которую все звали красавицей, оставила меня без последнего блюда. Обедаем. Сама бабушка Марфа Яковлевна, две тетеньки, я и призреваемая дама, важная и деревянная, Матильда Ивановна, сидевшая справа от меня, а слева красавица Катя. По обыкновению та и другая то и дело пияли меня: не ешь с ножа, и не ломай хлеб на скатерть, и ложку не держи, как мужик... За столом прислуживал бывший крепостной, одновременно и повар, и столовый лакей, плешивый Афграф. Какое это имя и было ли у него другое – я не знаю. В кухне его звали Афграфий Петрович. Афграф, стройный, с седыми баками, в коломенковой ливрее,

чистый и вылощенный, никогда ни слова не говорил за столом, а только мастерски подавал кушанья и убирал из-под носу тарелки иногда с недоеденным вкусным куском, так что я при приближении бесшумного Афрафа оглядывался и запихивал в рот огромный последний кусок, что вызывало шипение тетенок и сравнение меня то с собакой, то с крокодилом. Бабушка была глуховата, не слышала их замечания, а когда слышала, заступалась за меня и увещевала по-французски тетенок.

Вот съели суп. Подали отбивные телячьи котлеты с зеленым горошком... Поставили огромное блюдо душистой малины, мелкий сахар в вазах и два хрустальных кувшина с взбитыми сливками – мое самое любимое лакомство. Я старался около котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глотать кость за столом не полагалось. Я не заметил, как бесшумный Афраф стал убирать тарелки, и его рука в нитяной перчатке уже потянулась за моей, а горошек я еще не трогал, оставив его, как лакомство, и когда рука Афрафа простерлась над тарелкой, я ухватил десертную ложку, приготовленную для малины, помог пальцами захватить в нее горошек и благополучно отправил его в рот, уронив два стручка на скатерть. Ловко убрав упавший стручок, Афраф поставил передо мной глубокую расписанную тарелку для малины, а тетенька ему:

– Афраф, переверните тарелку Владимиру Алексеевичу, он оставлен без сладкого блюда, – и рука Афрафа перевер-

нула вверх дном тарелку, а ложку, только что положенную мной на скатерть, он убрал.

Я замер на минуту, затем вскочил со стула, перевернулся задом к столу и с размаха хлюпнул на перевернутую тарелку, которая разлетелась вдребезги, и под вопли и крики тетенек выскочил через балкон в сад и убежал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики звавших меня тетенок... Я вернулся поздно ночью, а наутро надо мной тетеньки затеяли экзекуцию и присутствовали при порке, которую совершали надо мной, надо сказать, очень нежно, старый Афграф и мой друг – кучер Ванька Брызгин.

Защитником моим был Николай Разнатовский, иногда назвавшийся из имения, да живший вместе с нами его брат, Семен Ильич, служивший на телеграфе, простой, милый человек, а во время каникул – третий брат, Саша Разнатовский, студент Петербургского университета; тот прямо подружился со мной, гимназистом 2-го класса.

С гимназией иногда у меня бывали нелады: все хорошо, да математика давалась плохо, из-за нее приходилось оставаться на второй год в классах. Еще со второго класса я увлекся цирком и за две зимы стал недурным акробатом и наездником. Конечно, и это отозвалось на занятиях, но уследить за мной было некому. Во время приезда Саши Разнатовского он репетировал меня, но в конце концов исчез бесследно. Было известно, что он тоже замешан в политику и в один прекрасный день он уехал в Петербург и провалил-

ся как сквозь землю – никакие розыски не помогли. В семье Разнатовских, по крайней мере при мне, с тех пор не упоминали имени Саши, а ссыльный Николай Михайлович Васильев, мой репетитор, говорил, что Саша бежал за границу и переименовал имя. И до сих пор я не знаю, куда девался Саша Разнатовский.

* * *

В это время Вологда была полна политическими ссыльными. Здесь были и по делу Чернышевского, и «Молодой России», и нигилисты, и народники. Всех их звали обыватели одним словом «нигилисты». Были здесь тогда П.Л. Лавров и Н.В. Шелгунов, первого, впрочем, скоро выслали из Вологды в уездный городишко Грязовец, откуда ему при помощи богатого помещика Н.А. Кудрявого был устроен благополучный побег в Швейцарию. Дом Кудрявого был как раз против окон гимназии, и во флигеле этого дома жили ссыльные, к которым очень благоволила семья Кудрявых, а жена Кудрявого, Мария Федоровна, покровительствовала им открыто, и на ее вечерах, среди губернской знати, обязательно присутствовали важнейшие из ссыльных.

Вообще тогда отношение к политическим во всех слоях общества было самое дружественное, а ссыльным полякам, которых после польского восстания 1863 года было наславно много, покровительствовал сам губернатор, заядлый по-

ляк Станислав Фомич Хоминский. Ради них ему приходилось волей-неволей покровительствовать и русским политическим.

Ходили нигилисты в пледах, очках обязательно и широкополых шляпах, а народники – в красных рубахах, поддевах, смазных сапогах, также носили очки синие или дымчатые и тоже длинные, по плечам, волосы. И те и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами – лучшими считались можжевеловые, которые добывали в дремучих домшинских лесах.

Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубахи-косоворотки, короткие черные юбки и черные маленькие шляпки, вроде кучерских.

М.Ф. Кудрявая, по инициативе и при участии ссыльных, в своем подгородном имении завела большую молочную ферму, где ссыльные жили и работали. Выписаны были коровы-холмогорки, дело поставлено было широко, и в продаже впервые в городе появилось сливочное и сметанное масло в фунтовых формах с надписью «Кудрявая». Вскоре это масло стало поступать в большом количестве в Москву, в Ярославль и другие города. Для Вологды цена за фунт 25 копеек казалась дорогой – и масло это подавать на стол считалось особым шиком. Эта ферма была родоначальницей знаменитого и донине вологодского масляного производства. Всякий ссыльный считал своим долгом первый визит сделать Кудрявой и нередко поселялся на ее ферме. Впоследствии, в

1882 году, приехав в Вологду, я застал во флигеле Кудрявой живших там Германа Лопатина и Евтихия Карпова, драматурга, находившихся здесь в ссылке.

Исправником в Вологде был А.И. Саблин. Его дети были Михаил (впоследствии сотрудник «Русских ведомостей»), юрист Александр и Николай, застрелившийся в Тележной улице в Петербурге после «1-го марта» в момент ареста. В то время все трое были студентами, числились неблагонадежными, и отец, бывший под влиянием сыновей, мирволил политическим. Помощником исправника был П.В. Беляев, женатый на Анне Михайловне Васильевой, два брата которой, Николай и Александр, высланные в Вологду, ярые народники, с дубинами и в красных рубахах, и были, сперва один, а потом другой, моими репетиторами. Они жили у сестры, которая собирала у себя ссыльную молодежь и даже остриглась и надела синие очки, но проносила только один день – муж попросил снять.

– Сними, а то надо мной и так уже смеются!

При такой сочувствующей власти ссыльные не стеснялись.

Была еще крупная власть – это полицмейстер, полковник А.Д. Суворов, бывший кавалерист, прогусаривший свое имение и попавший на эту должность по протекции. Страстный псовый охотник, не признававший ничего, кроме охоты, лошадей, театра и товарищеских пирушек, непременно с женой и пуншем. Он носился на шикарнейшей паре с отлетом

по городу, кнутиком подхлестывал пристяжную, сам не зная куда и зачем – только не в полицейское управление.

Как-то февральской вьюжной ночью, при переезде через реку Вологду, в его сани вскочил волк (они стаями бегали по реке и по окраинам). Лихой охотник, он принял ловкой хваткой волка за уши, навалился на него, приехал с ним на двор театра, где сострунил его, поручил полицейским караулить и, как ни в чем не бывало, звякнул шпорами в зрительном зале и занял свое обычное кресло в первом ряду. Попал он к четвертому акту «Гамлета». В последнем антракте публика, узнав о волке, надела шубы, устремилась на двор смотреть на это диво и уж в театр не возвращалась – последний акт смотрел только один Суворов в пустом театре.

Ну, какое дело Суворову до ссыльных? Если же таковые встречались у собутыльников за столом – среди гостей, – то при встречах он раскланивался с ними как со знакомыми. Больше половины вологжан-студентов были высланы за политику из столицы и жили у своих родных, и весь город был настроен революционно.

Около того же времени исчез сын богатого вологодского помещика, Левашов, большой друг Саши, часто бывавший у нас. Про него потом говорили, что он ушел в народ, даже кто-то видел его на Волге в армяке и в лаптях, ехавшего вниз на пароходе среди рабочих. Мне Левашов очень памятен – от него первого я услышал новое о Стеньке Разине, о котором

до той поры я знал, что он был разбойник и его за это проклинали анафемой в церквях Великим постом. В гимназии о нем учили тоже не больше этого.

Я как-то зашел в комнату Саши – он жил совершенно отдельно на антресолях. Там сидели Саша, Н.А. Назимова, Левашов, оба неразлучные братья Васильевы и наш гимназист седьмого класса, тоже народник, Кичин, пили домашнюю поляничную наливку и шумно разговаривали. Дали мне рюмку наливки, и Наталья Александровна усадила меня рядом с собой на диван.

Меня вообще в разговорах не стеснялись. Саша и мой репетитор Николай Васильев раз навсегда предупредили меня, чтобы я молчал о том, что слышу, и что все это мне для будущего надо знать. Конечно, я тоже гордо чувствовал себя заговорщиком, хотя мало что понимал. Я как раз пришел к разговору о Стеньке. Левашов говорил о нем с таким увлечением, что я сидел, раскрыв рот. Помню:

– Анафеме предали! Не анафеме, а памятник ему поставить надо! И дождемся, будет памятник! И не один еще Стенька Разин, будет их много, в каждой деревне свой Стенька Разин найдется, в каждой казачьей станице сыщется, – а на Волге сколько их! Только надо, чтобы их еще больше было, надо потом слить их – да и ахнуть! Вот только тогда-то все ненужное к черту полетит!

Это был последний раз, когда я видел Сашу и Левашова. Этот день крепко засел у меня в голове, и потом все чаще

и чаще просвещал меня Васильев, но я все-таки мало понимал. Меня тянуло больше к охоте. Читал я тоже мало, и если увлекался, то более всего Майн-Ридом и Купером. Газет тоже никогда не читал, у нас получался «Сын Отечества», а я и в руки его не брал. Увидел раз в столе у отца «Колокол», и, зная, что он запрещенный, начал читать, нашел скучным, непонятным и бережно положил обратно. Слушал я умного много, но понимал все по-своему, и даже скучал, слушая непонятные разговоры.

Кружок ссыльных в августе месяце, когда наши жили в деревне, собирался в нашем глухом саду при квартире. Я в августе жил в городе, так как начинались занятия. Весело проводили в этом саду время, пили пиво, песни пели, особенно про Стеньку Разина я любил; потом играли в городки на дворе, боролись, возились. Здесь я чувствовал себя в своей компании, отличался цирковыми акробатическими штуками, а в борьбе легко побеждал бородатых народников, конечно, пользуясь приемами, о которых они не имели понятия.

Мне было пятнадцать лет, выглядел я по сложению много старше. И вот как-то раз, ловким обычным приемом, я перебросил через голову боровшегося со мной толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня:

– Вот он, живой Никитушка Ломов!

– Ушкуйник! – сказал Васильев.

А ушкуйником меня прозвали в гимназии по случаю того,

что я в прошлом году убил медведя.

Вышло это так. Осенью мне удалось убить из-под гончих на охоте у Разнатовского матерого волка.

Ясно, что после волка захотелось и медведя убить. Я к нему, прошу его:

– Дядя Коля, возьми меня на медведя!

– Да ты с ума сошел? А что наши-то скажут?

Дядя, по своему обыкновению, выругался, прошелся раза два по комнате и сказал:

– Ладно. Про медведя молчи, а я скажу им, что мы в субботу на лосей едем, а у меня в Домшине берлоги обложены.

Мы долго ехали на прекрасной тройке во время вьюги, потом в какой-то деревушке, не помню уж названия, оставили тройку, и мужик на розвальнях еще верст двенадцать по глухому бору тащил нас до лесной сторожки, где мы и выспались, а утром, позавтракав, пошли. Дядя мне дал свой штуцер, из которого я стрелял не раз в цель.

Долго, помню, шли мы на лыжах по старому лыжному следу. Наконец остановились у целой горы бурелома. Место кругом было заранее вытоптано, так что можно ходить без лыж. Меня поставили близ толстой сосны, как раз шагах в восьми от вывороченного и занесенного снегом корня дерева. Под ним-то и была берлога. Дядя стал правее, левее помещик-охотник Ираклион Корчагин, а сзади меня, должно быть, для моей безопасности, Китаев с рогатиной в руках и

ножом за поясом. Когда все было готово, лесник влез на кучу бурелома и начал тыкать длинным шестом под корни вывороченной вековой ели. Сначала щелкнули взводы курков... Потом дядя, улыбаясь, сказал мне:

– Смотри, целясь в лопатку, не промахнись, – это твой медведь, целясь, не горячись.

– Не зевай, – мигнул мне Корчагин.

Вдруг под снегом раздалось рычанье, а потом рев... Лесник, упершись шестом в снег, прямо с дерева перепрыгнул к нам на утопанное место. В тот же момент из-под снега выросла почти до половины громадная фигура медведя. Я, не отдавая себе отчета, прицелился и спустил оба курка.

Гром выстрела и страшный рев... Я стоял, облокотясь о сосну, ни жив ни мертв и сразу ничего не видел сквозь дым.

– Bravo, молодец! Наповал! – послышался голос дяди, а из берлоги рявкнул Китаев: – Есть!

Когда он успел туда прыгнуть, я и не видал. А медведя не было, только виднелась громадная яма в снегу, из которой шел легкий пар, и показалась спина и голова Китаева. Разбросали снег, Китаев и лесник вытащили громадного зверя, в нем было, как сразу определил Китаев, и оказалось верно, – шестнадцать пудов. Обе пули попали в сердце. Меня поздравляли, целовали, дивились на меня мужики, а я все еще не верил, что именно я, один я, убил медведя!

Но зато ни один триумфатор не испытывал того, что ощущал я, когда ехал городом, сидя на санях вдвоем с громад-

ным зверем и Китаевым на козлах. Около гимназии меня окружили товарищи, расспросам конца не было, и потом как я гордился, когда на меня указывали и говорили: «Медведя убил!» А учитель истории Н.Я. Соболев на другой день, войдя в класс, сказал, обращаясь ко мне:

– Здравствуй, ушкуйник! Поздравляю!

Так и пошло – ушкуйник. Да только ненадолго!

Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов, – заинтересовало меня. Когда я спросил об этом Николая Васильева, то он сказал мне: «Погоди, узнаешь!» – И через несколько дней принес мне запрещенную тогда книгу Чернышевского «Что делать?».

Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым же героем все-таки был матрос Китаев.

Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.

Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн-Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.

Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна! Много, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, – а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей, тем более что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе

Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни.

Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда вологжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спастись и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни линьков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из линьков – и все как с гуся вода.

Так рассказывал Китаев:

– Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного имени Фофана все, и офицеры и матросы, боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал, и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало: драл собственноручно, меньше семи зубов с маху не вышибал, да еще райские сады на своем корабле устраивал.

Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было: половину в рекрутстве выбили да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколоти́л. Однако отсутствие зу-

бов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щелкать: челюсти у него давно закалились и вполне заменяли зубы.

– А райские сады Фофан так устраивал: возьмет да и развесит провинившихся матросов в веревочных мешках по реям... Висим и болтаемся... Это первое наказание у него было. Я болтался-болтался как мышь на нитке... Ну, привык, ничего – вместо качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость.

И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сидел.

– Фофан был рыжий, так, моего роста и такой же широкий, здоровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стеклышко, огнем горит – надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает.

– Васька Югов? – спрашивает.

– Есть! – отвечаю.

– Крузенштерн, – а я у Крузенштерна на последнем судне был, – не справился с тобой, так я справлюсь.

И мигнул боцману. Ну, сразу за здраю-желаю полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Встаю, обеими руками, согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне:

– Молодец, Югов.

Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: есть! А штаны-то и упали. Еще больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для ради дисциплины.

– На сальник! – командует мне Фофан.

А потом и давай меня по вантам, как кошку, гонять. Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился... С час гонял – а мне что! Похвалил меня Фофан и гаркнул:

– Будешь безобразничать – до кости шкуру спущу!

И спускал. Вот, то есть как, за всякие пустяки, дермадрал, да в мешках на реи подвешивал. Прямо зверь был. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступиться.

Фофан меня лупил за всякую малость. Уже просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело. У берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. Я и вступись за него, говорю, стало быть, Фофану, что лучше меня, мол, порите, а не его, он не вынесет... И взбеленился зверяга...

– Бунт? Под арест его. К расстрелу! – орет, и пена от злости у рта.

Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют-то завтра, а я пока выплещу.

Вдруг меня кто-то будит:

– Дядя Василий, тебя завтра расстреляют, беги, – земля видна, доплывешь.

Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели... Оказывается, все-таки Фофан простил его по болезни... Поцеловал я его, вышел на палубу; ночь темная, волны гудят, свищут, море злое, да все-таки лучше расстрела... Нырнул на счастье, да и очутился на необитаемом острове... Потом ушел в Японию с ихними рыбаками, а через два года на «Палладу» попал, потом в Китай и в Россию вернулся.

Директором гимназии был И.И. Красов. В первый раз я его увидел в классе так:

– Иван Иванович... Иван Иванович... – зашептал класс и смолк.

Я еще не знал, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжелые, слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытой двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка, и, наконец, синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь и вместе с ним появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, оперевшейся на косяк, показалась не то тарелка киселя, не то громадное голое колено и выскочила маленькая старческая бритая фигура инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький, семена ножками, к доске и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина...

– Уж тут себе... Уж тут себе... На колени, мерзавец!..

– Иван Иванович, простите... Иван Львович... – то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин.

– Иван Иванович... У меня штаны новые – отец драться будет.

– Потому что... – да, да, да... – тоненьким тенорком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избоченился и скрылся.

– Уж тут себе... Уж тут себе... Вставай, скотина... Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских... – И засеменял за директором.

– Го-го-го... го-го-го... – раскатился басом зырянин Забоев. Четырехугольная фигура, четырехугольное лицо, четырехугольные лоб и нос. В первом классе он сидел 6 лет. Приезжал из Сольвычегодского уезда по зимам, за тысячу верст, на оленях, его отец-зырянин, совершенный дикарь, останавливался за заставой на всполье, в сорокаградусные морозы, и сын ходил к нему ночевать и есть сырое мороженое оленье мясо. В этом же году его выгнали за скандал: он, пьяный, ночью побросал с соборного моста в реку патруль из четырех солдат, вместе с ружьями. А Клишин вышел из гимназии перед Рождеством и той же зимой женился. Таких великовозрастных было много в первом классе. Конечно, все они были поротые. Хотя телесное наказание было уже запрещено в гимназиях, но у нас сторожа Онисим и Андрей каждое

воскресенье устраивали «парта плезиры» на всполье, в тунд-ру, специально для заготовления розог, которые и хранили в погребе.

– Чтобы свежие были!

Употреблять их приходилось все-таки редко, но традиции велись. Оба сторожа, николаевские солдаты, никогда не могли себе представить, что можно ребят не пороть.

– Ум выгонять надо оттуда, чтобы он в голову шел, – совершенно безапелляционно заявлял Онисим и сокрушался, что «мало порют ныне».

Мой отец тоже признавал этот способ воспитания, хотя мы с ним были вместе с тем большими друзьями, ходили на охоту и по несколько дней, товарищами, проводили в лесах и болотах. В 12 лет я отлично стрелял и дробью и пулей, ездил верхом и был неутомим на лыжах. Но все-таки я был безобразник, и будь у меня такой сын теперь, в XX веке, я, несмотря ни на что, обязательно порол бы его.

Когда отец женился во второй раз, муштровала меня аристократическая родня мачехи, ее сестры, да какая-то баронесса Матильда Ивановна, с коричневым старым псом Жужу!.. В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить.

Сидели все на балконе и пили кофе. Были гости. Матильда Ивановна, сухая, чопорная, в шелковой косынке, что-то

вязала. Вдруг вбегает Жужу, на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото, а оно так и горит. Что тут было! Меня тетеньки поймали в саду, привели дворню и выпороли в беседке. Одна из тетенок, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом я ей за это жестоко отомстил. Стал к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку, в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломал гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и объяснялись в любви, я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше, прямо на головы влюбленных, высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук сто! Визг тети и орание испуганного храброго вояки-жениха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я услышал уже из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушечий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня, я посадил его в чан, где на дне была вода и куда я накидал полсотни лягушек. Конечно, Костя пожаловался, и я был сечен долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего в фризовой ши-

нели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я, в отместку за порку, всю разрисовал масляной охрой, все кругами, кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель поотчистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу.

– Хорошенькие воспоминания детства: только одни шалости, а где же ученье?

– Извольте. Ученье? Да, собственно говоря, – ученья-то у меня было мало.

Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в Законе Божиим, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории Камбала рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к отцу Николаю. Рассказываю.

– И выходишь ты дурак! И кто тебя учит этой ереси – тоже дурак выходит. Сказано: во чреве китове три дня и три ночи. А если еще будешь спрашивать глупости – в карцер. Написано в книге, и учи. Что, глупее тебя, что ли, святые-то отцы, оболтус ты эдакий?

А Камбала – тот свое:

– И сравнению не подлежит! Это обыкновенный кит, и он может только глотать малую рыбешку, а тот был кит другой, кит библейский – тот и пророка может. А ты, дурак, за неподобающие вопросы выйди из класса!

И в конце концов, иногда при круглых пятерках по предметам, стояло три с минусом за поведение. Да еще на грех стал я стихи писать. И немало пострадал за это...

В театр впервые я попал зимой 1865 года, и о театре до того времени не имел никакого понятия, разве кроме того, что читал афиши на стенах и заборах. Дома у нас никогда не говорили о театре и не посещали его, а мы, гимназисты первого класса, только дрались на кулачки и делали каверзы учителям и сторожу Онисиму.

В один прекрасный день я вернулся из гимназии, и тетя сказала мне:

– Сегодня я беру тебя в театр, у нас ложа, – и указала на огромный зеленый лист мягкой бумаги, висевший на стене, где я издали прочел:

– «Идиот».

А потом подошел и прочел всю афишу, буквы которой до сих пор горят у меня в памяти, как начертанные огненные слова на стене дворца Валтасара.

– «Вологда. С дозволения начальства. Труппой известных артистов в бенефис Мельникова представлена будет трагедия в 5-ти действиях „Идиот, или Тайна Гейдельбергского замка“. Далее действующие лица, а затем и „Дон Ранудо де Калибрадос, или Что за честь, коли нечего есть“, при участии известного артиста Докучаева».

Вот только эти два лица и остались тогда в моей памяти,

и с обоими из них я впоследствии не раз встречался и вспоминал то огромное впечатление, которое они на меня тогда произвели. И говорил мне тогда Мельников:

– Неудивительно, батенька! Такого Идиота, как я, вы не увидите. Нас только на всю Россию и есть два Идиота – я да Погонин.

Действительно, Идиот был коронной ролью того и другого, Мельников был знаменитость и Докучаев тоже.

Так вот какие две знаменитости того времени произвели на меня впечатление и заставили полюбить театр.

Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только еще свечи и лампы. Мы сидели в литерной бельэтажа, сбоку. Входила публика. В первый ряд прошел толстенный директор нашей гимназии И.И. Красов в форменном сюртуке, за ним петушком пробежал курчавый, как пудель, француз Ранси. Полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка, и потом все они сели в первом ряду... Вдруг поднялся занавес – и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну, несчастный, бледный юноша, с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких ру-

кавов... И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня, и я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху, и играл Идиота, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на «Идиота» и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и, когда еще раз вызвали его перед началом водевиля и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он «только представлял нарочно». Окончательно же успокоился на водевиле и выучил распевать товарищей некоторые запомнившиеся куплеты:

Нужно поручительство, —
Где порук найти, —
Ваше покровительство
Может нас спасти...

И после «Идиота» в классе копировал Докучаева, передавая важность дон Ранудо... И это увлечение театром продолжалось до следующего учебного года, когда я увлекся цирком и ради сальто-морталей забыл Идиота и важного дон Ранудо.

Представление «Царь Максемьян» солдатами в казармах в 1866 году произвело на наших гимназистов впечатление неотразимое, и много фраз из этого произведения долго были ходячими, а некоторые сцены мы разыгрывали в антрак-

тах. Представление это было всего только один раз, и гимназистов было человек десять, попавших на «Максемьяна» только благодаря тому, что они были или дети, или знакомые гарнизонных офицеров. Зато мы, то есть каждый из этого десятка, были героями дня в классе, и нас заставляли разыгрывать сцены и рассказывать о виденном и слышанном.

– Не подходи ко мне с отвагою, а то прокалю тебя сею шпагою, – повторяли мы ежедневно и много лет при всяком удобном случае, причем шпагу изображала ручка или карандаш.

Из учителей останется в памяти у всех моих товарищей, которые еще есть в живых, учитель естественной истории Порфирий Леонидович, прозванный Камбалой.

Это был длинный, худой, косо́й и лопухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в эмпиреях, а может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой парте, где он и располагался. Сядет, обоймет журнал, закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки. Только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там – барабань, что хочешь: он, уловив первые слова, уже ничего не слышит.

– Гиляровский.

Выхожу.

– Собака!

– Собака, Порфирий Леонидович.

– Собака!

– Собака – *Canis familiaris*.

– Вер-рно!..

И закатит глаза.

– Собака – *Canis familiaris*. Достигает величины семи футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где съедает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и канисами фамилиарисами...

Он прислушивается на момент.

– Собака, Порфирий Леонидович, водится в северных странах, у самоедов, где они поедают друг друга среди долины ровной, на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда... Собака считается лучшим другом человека... Я кончил, Порфирий Леонидович.

– А?.. Что?.. Кончил?

– Собака считается лучшим другом человека...

– Чело-ве-ека... О-ох!..

И закатит глаза.

– Хорошо, садись!

– Засецкий – окунь!

– Окунь, Порфирий Леонидович.

– Окунь!

– Окунь – *Perca fluviatilis*. Водится в реках и озерах сред-

ней России.

Засецкий, первый ученик, отвечает великолепно и получает ту же пятерку, что и я... Класс уже приучен, и что ни ври, – смеется тихо, чтобы не помешать товарищу. Так преподавалась естественная история. Изучали мышей и крыс. Мы принесли с десяток мышей и мышат, опустили их в форточку между окнами, и они во мху, уложенном вместо ваты, жили прекрасно. На веревочке спускали им баночки с водой, молоко и бросали всякую снедь. И когда раз Камбала, поймав в незнании урока случайно остановившегося посреди ответа ученика, на него раскричался и грозил единицей, – мы отвлекли его гнев указанием на мышей. Камбала расчувствовался и долго рассказывал, стоя у окна, о мышах, потом перешел на муравьев, на слонов и, наконец, когда уже раздался звонок к перемене, сказал:

– Милые зверьки... Только я думаю, что их сторожа разгонят...

– Да мы, Порфирий Леонидович, не покажем их... – Но как раз в эту минуту влетел инспектор, удивившийся, что после звонка перемены класс не выходит, – и пошла катавасия! К утру мышей не было.

– Гадов развели, озорники беспутые, – ругал нас сторож Онисим.

Но на класс кары не последовало. А сидели раз два часа без обеда всем классом за другое; тогда я был еще в первом классе. Зима была холодная. Нежностей, вроде нехождения

в класс, не полагалось. В 40 градусов с лишком мы также бегали в гимназию, раза два по дороге оттирая снегом отмороженные носы и щеки, в чем также нередко помогали нам те же сторожа, Онисим и Андрей, относясь к помороженным с отеческой нежностью. Бывали морозы и такие, что падали на землю замерзшие вороны и галки. И вот кто-то из наших второклассников принес в сумке пару замерзших ворон и, конечно, в класс, в парту. Птицы отогрелись, рванулись – и прямо в окно. Загремели стекла двойных рам, класс наполнился холодом, а птицы улетели. Тогда отпустили всех по домам, а на другой день второй класс и нас почему-то продержали два часа после занятий. За что наш класс, – так и не знаю. Но с тех пор в морозы больше 40 градусов нас отпускали обратно. Распорядиться же не приходится в 40 градусов совершенно в гимназию было нельзя, потому что на весь наш губернский город едва ли был десяток градусников у самых важных лиц. Обыкновенные обыватели о градусниках и понятия не имели. Вешать же на каланчах морозные флаги никто и не додумался тогда.

Кроме Камбалы, человека безусловно доброго и любимого нами, нельзя не вспомнить двух учителей, которых мы все не любили. Это были чопорные и важные иностранцы, совершенно непохожие на всех остальных наших милых чиновников, в засаленных синих сюртуках и фраках, редко бритых, говоривших на «о». Влетали нам от них иногда и легкие подзатыльники, и наказания в виде стояния на ко-

лениях. Но все это делалось просто, мило, по-отечески, без злобы и холодности. Учитель французского языка м-р Ранси, всегда в чистой манишке и новом синем фраке, курчавый, как пудель, говорят, был на родине парикмахером. Его терпеть не могли. Немец Робст ни слова не знал по-русски, кроме: «Пошелъ, на уколь, свинь рюски», и производил впечатление самого тупоголового колбасника. Первые его уроки были утром, три раза во втором классе и три раза в третьем. Для первого начала, когда он появился в нашей гимназии, ему в третьем классе прочли вместо молитвы «Чижик, чижик, где ты был» и т. д.

Это было в понедельник. Второй класс узнал – и тоже «чижика» закатил. Так продолжалось с месяц. Вдруг на наш первый урок вместе с немцем ввалился директор.

– Читай молитву, – приказал он первому ученику.

И тот начал читать молитву перед учением. Немец изумленно вытаращил белые глаза и спросил:

– Пашиму не тшиджик-тшиджик?

Дело разъяснилось, и вышел скандал. Конечно, я сидел в карцере, хотя ни разу не читал ни молитвы, ни «чижика». В том же году, весной, во второй половине, к экзаменам приехал попечитель округа князь Ливен. Железной дороги не было, и по телеграфу заблаговременно, то есть накануне приезда, узнало начальство о его прибытии. Пошли мытье и чистка. Нас выстраивали в классе и осматривали пуговицы. Мундиры с красными воротниками с шитьем за год пе-

ред этим отменили, и мы ходили в черных сюртуках с синими петлицами. Выстроили нас всех в актовом зале. Осмотрели маленьких. Подошли к шестому и седьмому классам, директор с инспектором заволновались, зажестичулировали. И смешно на них, маленьких да пузатеньких, было смотреть перед строем рослых бородатых юношей. Бородатые были и в младших классах. Так, во втором классе был старожил Гудвил, более похожий по длинным локонам и бородище на соборного дьякона.

– Потому что... Потому что... Я... да... да... Остричься!.. – визжал директор.

– Уж тут себе... Уж тут себе... Обриться!.. – вторил Тык-ва.

Инспектора звали Тыквой за его лысую голову. И посыпались угрозы выгнать, истолочь в порошок, выпороть и обрить на барабане всякого, кто завтра на попечительский смотр не обреется и не острижется. Приехал попечитель, длинный и бритый. И предстали перед ним старшие классы, высокие и бритые – в полумасках. Загорелые лица и белые подбородки и верхние губы свежееобритые... смешные физиономии были.

Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звездочкой в мертвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий

и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию:

– Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?

– Там... мо... мо... Индийский океан...

– Не океан, а только озеро... Так забыл, Ордин?

– Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.

– На что книжка? Все равно забудешь... Да и нетрудно забыть – слова мудреные, дикие... Озеро называется Манасаровар, а реки – Пенджаб, что значит пятиречье... Слова тебе эти трудны, а вот ты припомни: пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь?

– Галахов! Какую ты Новую Гвинею начертил на доске? Это, братец, окорок, а не Новая Гвинея... Помни, Новая Гвинея похожа на скверного, одноногого гуся... А ты окорок.

В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил:

– Книжки еще не покупали?

– Не покупали.

– И не покупайте, это не история, в ней только и говорится, что такой-то царь побил такого-то, такой-то князь такого-то и больше ничего... Истории развития народа и страны там и нет.

И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать имена и хронологические данные, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминалось.

– Что было в 1380 году?

Ответишь.

– А ровно через сто лет?

Все хорошо запоминалось. И самое светлое воспоминание осталось о Соболеве. Учитель русского языка, франтик Билевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство.

– Они все женятся! – охарактеризовал его Онисим.

Действительно, это был «жених из ножевой линии» и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворения-шутки, которыми занимались в гимназии двое: я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны, мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам.

Вдруг совершенно неожиданно, в два-три дня по осени выросло на городской площади круглое деревянное здание необъятной высоты.

ЦИРК АРАБА-КАБИЛА ГУССЕЙН БЕН-ГАМО.

Я в дикий восторг пришел. Настоящего араба увижу, да еще араба-кабила, да еще – Гуссейн Бен-Гамо!.. И все, что училось и читалось о бедуинах и об арабах, и о верблюдах, которые питаются после глотающих финики арабов косточ-

ками, и самум, и Сахара – все при этой вывеске мелькнуло в памяти, и одна картина ярче другой засверкали в воображении. И вдруг узнаю, что сам араб-кабил с женой и сыном живут рядом с нами. Какой-то черномазый мальчишка ударил палкой нашу черную Жучку. Та завизжала Я догнал мальчишку, свалил его и побил. Оказалось, что это Оська, сын араба-кабила. Мы подружились. Он родился в России и не имел понятия ни об арабах, ни об Аравии. Отец был обруселый араб, а мать совсем русская. Оська учился раньше в школе, и только что его отец стал обучать цирковому искусству. Два раза в неделю, по средам и пятницам, с 9 часов утра до 2 часов дня, а по понедельникам и четвергам с 4 часов вечера до 6 часов отец Оську обучал. Араб-кабил был польщен, что я подружился с его сыном, и начал нас вместе «выламывать». Я был ловчее и сильнее Оськи, и через два месяца мы оба отлично работали на трапеции, делали сальто-мортале и прыгали без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов и никто не интересовался – пропускают уроки или нет. Сказал: голова болела или отец не пустил – и конец, проверок никаких. И вот в два года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оська уже работал в спектаклях («Малолетний Осман»), а я – только смотрел, гордо сознавая, что я лучше Оськи все сделаю. Впоследствии не раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание, не меньше гимназии. О сво-

их успехах я молчал и знания берег про себя. Впрочем, раз вышел курьез. Это было на Страстной неделе, перед причащением. Один, в передней гимназии, я делал сальто-мортале. Только что, перевернувшись, встал на ноги – передо мной законоучитель, стоит и крестит меня.

– Окаянный, как это они тебя переворачивают? А ну-ка еще!..

– Я не буду, отец Николай, простите.

– Вот и не будешь теперь!.. Вчера только исповедовались, а они уже вселились!

А сам крестит...

– Нет, ты мне скажи, отчего нечистая сила тебя эдак крутит?

Я сделал двойное. Батя совсем растерялся.

– Свят, свят... Да это ты никак сам...

– Сам.

– А ну-ка!

Я еще сделал.

– Премудрость... Вот что, Гиляровский, на Пасхе заходи ко мне, матушка да ребята мои пусть посмотрят...

– Отец Николай, уж вы не рассказывайте никому...

– Ладно, ладно... Приходи на второй день. Куличом накормим. Яйца с ребятами покатаешь. Ишь ты, окаянный! Сам дошел... А я думал уж – они в тебя, нечистые, вселились да поворачивают... Крутят тебя.

Глава вторая

В народ

Побег из дома. Холера на Волге. В бурлацкой лямке. Арауишка. Улан и Костыга, Пудель. Понизовая вольница. Крючники. Разбойная станица. Артель атамана Репки. Красный жилет и сафьянная кобылка. Средство от холеры. Арест Репки. На выручку атамана. Холера и пьяный козел. Приезд отца. Встреча на пароходе. Кисмет!

Это был июнь 1871 года. Холера уже началась. Когда я пришел пешком из Вологды в Ярославль, там участились холерные случаи, которые главным образом проявлялись среди прибрежного рабочего народа, среди зимогоров-грузчиков. Холера помогла мне выполнить заветное желание по-пасть именно в бурлаки, да еще в лямочки, в те самые, о которых Некрасов сказал: «То бурлаки идут бичевой...»

Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире... А где же бурлаки?

Я спрашивал об этом на пристанях – надо мной смеялись. Только один старик, лежавший на штабелях теса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водят суда теперь, тащат только маленькие унжаки и коломенки, а старин-

ных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было.

– Вот только одна вчера такая вечером пришла, настоящая расшива, и сейчас, так версты на две выше Твериц, стоит; тут у нас бурлацкая перемена спокон веку была, аравушка на базар сходит, сутки, а то и двое, отдохнет. Вон гляди!..

И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходявших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направлялись к нам; их, должно быть, привлекли эти груды сложенного теса.

– Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить?

– Да пейте, кто мешает!

– Вот спасибо, и тебе поднесем!

Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную вязку кренделей. Другой, коренастый мужик, вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печенку с хороший каравай, а четвертый, с черной бородой и огромными бровями, стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошел к ним.

– А этот малый с тобой, что ли? – мигнул черный на меня.

– Так, работенку подыскивает.

– Ведь вы с той расшивы?

– Оттоль! – И поманил меня к себе. – Седай!

Черный осмотрел меня с головы до ног и поднес вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня.

– Вот, гляди, ребята, это все мое состояние. Пропьем, а потом уж вы меня в артель возьмите, надо и ляжку попробовать... Прямо говорить буду, деваться некуда, работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался.

– А на кой ляд он нам?

– Ну что ж, ладно! Айда с нами, по заре выходим.

Мы пили, закусывали, разговаривали... Принесли еще штоф и допили.

– Айда-те на базар, сейчас тебя обрядить надо... Коньки брось, на липовую машину станем!

Я ликовал. Зашли в кабак, захватили еще штоф, два каравая ситного, продали на базаре за два рубля мои сапоги, купили онучи, три пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня три раза рзуться и обуться. И ах! как легки после тяжелой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чем я и сообщил бурлакам.

– Нога-то как в трактире! Я вот сроду не носил сапогов, – утешил меня длинный малый.

* * *

Приняла меня аравушка без расспросов, будто пришел свой человек. По бурлацкому статуту не подобает расспрашивать, кто ты да откуда.

Садись, да обедай, да в ляжку впрягайся! А откуда ты, никому дела нет. Накормили меня ужином, кашницей с соленой судачиной, а потом я улегся вместе с другими, на песке около прикола, на котором был намотан конец бичевы, а другой конец высоко над водой поднимался к вершине мачты. Я уснул, а кругом еще разговаривали бурлаки да шумела и ругалась одна пьяная кучка, распивавшая вино. Я заснул как убитый, сунув лицо в песок – уж очень комары и мошкара одолевали, – особенно когда дым от костра несся в другую сторону.

Я проснулся от толчка в бок и голоса над головой:

– Вставай, ребятушки, встава-ай...

Песок отсырел... Дрожь проняла все тело... Только что рассвело... Травка не колыхнется, роса на листочке поблескивает... Ветерок пошевеливает белый – туман над рекой... Вдали расшива кажется совсем черной...

– Подходи к отвальной!

Около приказчика с железным ведром выстраивалась шеренга вставших с холодного песка бурлаков с заспанными лицами, кто расправлял наболелые кости, кто стучал от утреннего холода зубами.

Согреться стаканом сивухи – у всех было единой целью и надеждой. Выпивали... Отходили... Солили ломти хлеба и завтракали... Кое-кто запивал из Волги прямо в нападку водой с песочком и тут же умывался, утираясь кто рукавом, кто полой кафтана. Потом одежду, а кто запасливей, так и

рогожку, на которой спал, валили в лодку, и приказчик увозил бурлацкое имущество к посудине. Ветерок зарябил реку... Согнал туман... Засверкали первые лучи восходящего солнца, а вместе с ним и ветерок затих... Волга – как зеркало... Бурлаки столпились возле прикола, вокруг бичевы, приноравливались к лямке.

– Хомутайсь! – рявкнул косной с посудины.

Стали запрягаться, а косной ревел:

– Залогую!..

Якорные подъехали на лодке к буйку, выбрали канаты, затагнули «Дубинушку», и, наконец, якорь показал из воды свои черные рога...

– Ходу, ребятушки, ходу! – надрывался косной.

– Ой, дубинушка, ухнем, ой, лесовая, подернем, подернем, да ух, ух, ух...

Расшива неслышно зашевелилась.

– Ой, пошла, пошла, пошла...

А расшива еще только шевелилась и не двигалась... Аравушка топталась на месте, скрипнула мачта...

– Ой, пошла, пошла, пошла...

То мы хлюпали по болоту, то путались в кустах.

Ну и шахма! Вся тальником заросла. То в болото, то в воду лезь.

Ругался «шишка» – Иван Костыга, старинный бурлак, из низовых.

– На то ты и «гусак», чтоб дорогу-путь держать, – сказал «подшишечный» Улан, тоже бывалый.

– Да нешто это наш бичевник!.. Пароходы съели бурлака... Только наш Пантюха все еще по старой вере.

– Народом кормился и отец мой и я. Душу свою нечистому не отдам. Что такое пароходы? Кто их возит? Души утопленников колеса вертят, а нечистые их огнем палят...

Этот разговор я слышал еще накануне, после ужина. Путина, в которую я попал, была случайная. Только один на всей Волге старый «хозяин» Пантелей из-за Утки-Майны водил суда народом, по старинке.

Короткие путины, конечно, еще были: народом поднимали или унжаки с посудой или паузки с камнем, и наша единственная уцелевшая на Волге Крымзенская расшива была анахронизмом. Она была старше Ивана Костыги, который от Утки-Майны до Рыбны больше двадцати путин сделал у Пантюхи и потому с презрением смотрел и на пароходы и на всех нас, которых бурлаками не считал. Мне посчастливилось, он меня сразу поставил третьим, за подшишечным Уланом, сказав:

– Здоров малый, – этот сдоржить!

И Улан подтвердил: сдоржить!

И приходилось сдерживать, – инда икры болели, грудь ломило и глаза наливались кровью.

– Суводь³, робя, держись. О-го-го-го... – загремело с рас-

³ Суводь – порыв встречного течения.

шивы, попавшей в водоворот.

И на повороте Волги, когда мы переваливали песчаную косу, сразу натянулась бичева, и нас рвануло назад.

– Над-дай, робя, у-ух! – грянул Костыга, когда мы на момент остановились и кое-кто упал.

– Над-дай! Не засарива-ай!.. – ревел косной с прясла.

Сдержали. Двинулись, качаясь и задыхаясь... В глазах потемнело, а встречное течение – суводь – еще крутило посудину.

– Федька, пуделя! – хрипел Костыга.

И сзади меня чудный высокий тенор затянул звонко и приказательно:

– Белый пудель шаговит...

– Шаговит, шаговит... – отозвалась на разные голоса ва-тага, и я тоже с ней.

И установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели черного пуделя.

– Черный пудель шаговит, шаговит... Черный пудель шаговит, шаговит.

И пели, пока не побороли встречное течение. А тут еще десяток мальчишек с песчаного обрывистого яра дразнили нас:

– Аравушка! аравушка! обсери берега!

Но старые бурлаки не обижались, и никакого внимания на них.

– Что верно, то верно, время холерное!

– Правдой не задразнишь, – кивнул на них Улан.

Обессиленно двигались. Бичева захлюпала по воде. Расшива сошла со стержня...

– Не засарива-ай!.. – И бичева натягивалась.

– Еще ветру нет, а то искупало бы! – обернулся ко мне

Улан.

– Почему, Улан? – допытывался я после у него.

Оказывается, давно это было – остановили они шайкой тройку под Казанью на большой дороге, и по дележу ему достался кожаный ящик. Пришел он в кабак на пристани, открыл, – а в ящике всего-навсего только и оказалась уланская каска.

– Ну и смеху было! Так с тех пор и прозвали Уланом.

Смеется, рассказывает.

Когда был попутный ветер – ставили парус и шли легко и скоро, торопком, чтобы не засаривать в воду бичеву.

Давно миновали Толгу – монастырь на острове.

Солнце закатывалось, потемнела река, пояснел песок, а тальники зеленые в черную полосу слились.

– Засобачивай!

И гремела якорная цепь в ответ.

Булькнули якоря на расшиве... Мы распряглись, отхлестнули чебурки ляпочные и отдыхали. А недалеко от берега два костра пылали и два котла кипятились. Кашевар часа за два раньше на завозне прибыл и ужин варил. Водолив при-

плыл с хлебом с расшивы.

– Мой руки да за хлеб – за соль!

Сели на песке кучками по восьмеро на чашку. Сперва хлебали с хлебом «юшку», то есть жидкий навар из пшена с «поденьем», льняным черным маслом, а потом густую пшеничную «ройку» с ним же. А чтобы сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в чашки воды: ложка каши – ложка воды, а то ройка крута и суха, в глотке стоит. Доели. Туман забелел кругом. Все жались под дым, а то комар заел. Онучи и лапти сушили. Я в первый раз в жизни надел лапти и нашел, что удобнее обуви и не придумаешь: легко и мягко.

Кое-кто из стариков уехал ночевать на расшиву.

Федя затянул было «Вниз по матушке...», да не вышло. Никто не подтянул. И замер голос, прокатившись по реке и повторившись в лесном овраге...

А над нами, на горе, выли барские собаки в Подберезном.

Рядом со мной старый бурлак, седой и почему-то безухий, тихо рассказывал сказку об атамане Рукше, который с бурлаками и казаками персидскую землю завоевал... Кто это завоевал? Кто этот Рукша? Уж не Стенька ли Разин? Рукша тоже персидскую царевну увез.

Скоро все заснули.

Моя первая ночь на Волге. Устал, а не спалось. Измучился, а душа ликовала, и ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушел в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который и сунул меня на

Волгу своим романом «Что делать?».

– Заря зарю догоняет! – вспомнил я деда, когда восток белеть начал, и заснул на песке как убитый.

И как не хотелось вставать, когда утром водолив еще до солнышка орал:

– Э-ге-гей. Вставай, робя... Рыбна не близко еще.

Холодный песок и туман сделали свое дело: зубы стучали, глаза слипались, кости и мускулы ныли.

А около водолива два малых с четвертной водки и стаканом.

– Подходи, робя. С отвалом!

Выпили по стакану, пожевали хлеба, промыли глаза – рукавом кто, а кто подолом рубахи вытерлись...

Лодка подвезла бичеву. К водоливу подошел Костыга.

– Ты, никак, не с расшивы пришел? Опять, что ли?

– Двоих... Одного, который в Ярославле побывшился, да сегодня ночью прикашиков племянник, мальчонко... Вонища в казенке у нас. Вон за косой, в тальниках, в песке закопали... Я оттуда прямо сюды...

– Нда! Ишь ты, какая моровая язва пришла.

– Рыбаки сказывали, что в Рыбне не судом народ валит.

Холера, говорят.

– И допрежь бывала она... Всяко видали... По всей Волге могилы-то бурлацкие. Взять Ширмоксанский перекаат... Там, бывало, десятками в одну яму валили...

Уж я после узнал, что меня взяли в ватагу в Ярославле вместо умершего от холеры, тело которого спрятали на расшиве под кичкой – хоронить в городе боялись, как бы задержки от полиции не было... Старые бурлаки, люди с бурным прошлым и с юности без всяких паспортов, молчали: им полиция опаснее холеры. У половины бурлаков паспортов не было. Зато хозяин уж особенно ласков стал: три раза в день водку подносил с отвалом, с привалом и для здоровья.

Закусили хлебца с водицей: кто нападкой попил, кто горсткой – все равно с песочком.

– Отда-ва-ай!..

«Дернем-подернем, да ух-ух-ух!» – неслоь по Волге, и якорь стукнул по борту расшивы.

– Не засарива-ай! О-го-го-го!

– Ходу, брательники, ходу!

– Ой, дубинушка, ухнем. Ой, зеленая, подернем, подернем – да ух!

Зашевелилась посудина... Потоптались минутку, покачались и зашагали по песку молча. Солнце не показывалось, а только еще рассыпало золотой венец лучей.

Трудно шли. Грустно шли. Не раскачались еще...

Укачала-уваляла,

Нашей силушки не стало... —

затягивает Федя, а за ним и мы:

О-о-ох... О-о-ох!..

Ухнем да ухнем... У-у-у-х!..

Укачала-уваляла,

Нашей силушки не стало...

Солнце вылезло и ослепило. На душе повеселело. Посудина шла спокойно, боковой ветерок не мешал. На расшиве поставили парус. Сперва полоскал – потом надулся, и как гигантская утка боком, но плавно покачивалась посудина, и бичева иногда хлопала по воде.

– Ходу, ходу! Не засаривай!

И опять то натягивалась бичева, то лямки свободно отделились от груди.

Молодой вятский парень, сзади меня, уже не раз бегавший в кусты, бледный и позеленевший, со стоном упал... Отцепили ему на ходу лямку – молча обошли лежачего.

– Лодку! Подбери недужного! – крикнул гусак расшиве.

И сразу окликнул нас:

– Гляди! Суводь! Пуделя!

Особый народ были старые бурлаки. Шли они на Волгу – вольной жизнью пожить. Сегодняшним днем жили, будет день, будет хлеб!

Я сдружился с Костыгой, более тридцати путин сделавшим в ляжке по Волге. О прошлом лично своим он гово-

рил урывками. Вообще разговоров о себе в бурлачестве было мало – во время хода не заговоришь, а ночь спишь как убитый... Но вот нам пришлось близ Яковлевского оврага за ветром простоять двое суток. Добыли вина, попили порядочно, и две ночи Костыга мне о былом рассказывал...

– Эх, кабы да старое вернуть, когда этих парходищ было мало! Разве такой тогда бурлак был? Что теперь бурлак? Из-за хлеба бьется! А прежде бурлак вольной жизни искал. Конечно, пока в лямке, под хозяином идешь, послухмян будь... Так разве для этого тогда в бурлаки шли, как теперь, чтобы получить путинные да по домам разбрестись? Да и дома-то своего у нашего брата не было... Хошь до меня доведись. Сжег я барина и на Волгу... Имя свое забыл: Костыга да Костыга... А Костыгу вся бурлацкая Волга знает. У самого Репки есаулом был... Вот это атаман! А тоже, когда в лямке, и он, и я хозяину подчинялись – пока в Нижнем али в Рыбне расчет не получишь. А как получили расчет – мы уже не лямошники, а станишники! Раздобудем в Рыбне завозню, соберем станицу верную, так, человек десять, и махать на низ... А там по островам еще бурлаки деловые, знаёмые найдутся – глядь, около Камы у нас станица в полсотни, а то и больше... Косовыми разживемся с птицей – парусом... Репка, конечно, атаманом... Его все боялись, а хозяева уважали... Если Репка в лямке – значит посудина дойдет до мест... Бывало-че идем в лямке, а на нас разбойная станица налетает, так, лодки две, а то три... Издала атаман ревет на носу:

– Ложись, дьяволы!

Ну, конечно, бурлаку своя жизнь дороже хозяйского добра. Лодка атаманская дальше к посудине летит:

– Залогу!

Испуганный хозяин или приказчик видит, что ничего не поделаешь, бросит якорь, а бурлаки лягут носом вниз... Им что? Ежели не послушаешь, – самих перебьют да разденут донага... И лежат, а станица очищает хозяйское добро да деньги пытается у приказчика. Ну, с Репкой не то: как увидит атаман Репку впереди – он завсегда первым, гусаком ходил, – так и отчаливает... Раз атаман Дятел, уж на что злой, сунулся на нашу ватагу, дело было под Балымерами, высадился, да и набросился на нас. Так Репка всю станицу разнес, мы все за ним как один пошли, а Дятла самого и еще троих насмерть уложили в драке... Тогда две лодки у них отобрали, а добра всякого, еды и одежды было уйма, да вина два бочонка... Ну, это мы подуванили... С той поры ватагу, где был Репка, не трогали... Ну вот, значит, мы соберем станицу так человек в полсотни и все берем: как увидит аравушка Репку-атамана, так сразу тут же носом в песок. Зато мы бурлаков никогда не трогали, а только уж на посуде дочиста все забирали. Ой и добра и денег к концу лета наберем...

Увлекается Костыга – а о себе мало: все Репка да Репка.

– Кончилась воля бурлацкая. Все мужички деревенские, у которых жена да хозяйствишко... Мало нас, вольных, осталось. Вот Улан да Федя, да еще косной Никашка... Эти с на-

ми хаживали.

А как-то Костыга и сказал мне:

– Знаешь что? Хочется старинку вспомнить, разок еще гульнуть. Ты, я гляжу, тоже гулящий... Хошь и молод, а из тебя прок выйдет. Дойдем до Рыбны, соберем станицу да махнем на низ, а там уж у меня кое-что на примете найдется. С деньгами будем.

А потом задумался и сказал:

– Эх, Репка, Репка. Вот ежели его бы – ну прямо по шапке золота на рыло... Пропал Репка... Годов восемь назад его взяли, заковали и за бугры отправили... Кто он – не дознались...

И начал он мне рассказывать о Репке:

– Годов тридцать атаманствовал он, а ляжки никогда не покидал, с весны в ляжке; а после путины станицу поведет... У него и сейчас есть поклажи зарытые. Ему золото – плевать... Лето на Волге, а зимой у него притон есть, то на Иргизе, то на Черемшане... У раскольников на Черемшане свою избу выстроил, там жена была у него... Раз я у него зимовал. Почет ему от всех. Зимой по-степенному живет, чашкой-ложкой отпихивается, а как снег таять начал – туча тучей ходит... А потом и уйдет на Волгу...

– И знали раскольники – зачем идет?

– И ни-ни. Никто не знал. Звали его там Василий Ивановичем. А что он – Репка, и не думали. Уж после воли как-то летом полиция и войска на скит нагрянули, а раскольники в

особой избе сожгли сами себя. И жена Репки тоже сгорела. А он опять с нами на Волге, как ни в чем не бывало... Вот он какой, Репка! И все к нему с уважением, прикащики судовые шапку перед ним ломали, всяк к себе зовет, а там власти береговые быдто и не видят его – знали, кто тронет Репку, тому живым не быть: коли не он сам, так за него пришибут...

И часто по ночам отходим мы вдвоем от ватаги, и все говорит, говорит, видя, с каким вниманием я слушал его... Да и поговорить-то ему хотелось, много на сердце было всего, всю жизнь молчал, а тут во мне учуял верного человека. И каждый раз кончал разговор:

– Помалкивай. Быдто слова не слышал. Сболтнешь раньше, пойдет блекотанье, ничего не выйдет, а то и беду наживешь... Станицу собирать надо сразу, чтобы не остыли... Наметим, стало быть, кого надо, припасем лодку – да сразу и ухнем...

Надо сразу! Первое дело, не давать раздумываться. А в лодку сели, атамана выбрали, поклялись стоять всяк за свою станицу и слушаться атамана, – дело пойдет. Ни один станичник еще своему слову не изменял.

Увлекался старый бурлак.

– Молчок! До Рыбны ни словечка... Там теперь много нашего брата, крючничают... Такую станицу подберем... Эх, Репки нет!

Этот разговор был на последней перемене перед самым Рыбинском...

– Ну, так идешь с нами?

– Ладно, иду, – ответил я, и мы ударили по рукам. – Иду!

– Ладно.

И прижал Костыга палец к губам – рот запечатал.

А мне вспомнился Левашов и Стенька Разин.

Рассчитались с хозяином. Угостил он водкой, поклонился нам старик в ноги:

– Не оставьте напередки, братики, на наш хлеб-соль, на нашу кашу!

И мы ему поклонились в ноги: уж такой обычай старинный бурлацкий был.

Понадевали сумки лямошники, все больше мужички костромские были, – «узкая порка», и пошли на пароходную пристань, к домам пробираться, а я, Костыга, Федя и косной прямо в трактир, где крючники собирались. Народу еще было мало. Мы заняли стол перед открытым окном, выходящим на Волгу, где в десять рядов стояли суда с хлебом и сотни грузчиков с кулями и мешками быстро, как муравьи, сбегали по сходням, сверкая крюком, бежали обратно за новым грузом. Спросили штоф сивухи, рубца, воблы да яичницу в два десятка яиц заказали.

– С привалом!

– С привалом!

Не успели налить по второму стакану, как три широкоплечих богатыря в красных жилетках, обшитых галуном, и рва-

ных картузах ввалились в трактир. Как сумасшедший вско-
чил Костыга, чуть стол не опрокинул. Улан за ним... Обни-
маются, целуются... и с ними, и с Федей...

– Петля! Балабурда!! Вы откуда, дьяволы?

Составили стол. Сели. Я молчал. Пришедшие на меня по-
косились и тоже молчали – да выручил Костыга:

– Это свой... Мой дружок, Алеша Бешеный.

Нужно сказать, что я и в дальнейшем везде назывался
именем и отчеством моего отца, Алексей Иванов, нарочно
выбрав это имя, чтобы как-нибудь не спутаться, а Бешеный
меня прозвали за то, что я к концу путины совершенно при-
шел в силу и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то
вскарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках прой-
ду или тешу ватагу, откалывая сальто-мортале, да еще пере-
борол всех по урокам Китаева. Пришедшие мне пожали сво-
ими железными лапами руку.

– Удалой станишник выйдет! – похвалил меня Костыга.

– Жидковат... Ручонка-то бабья, – сказал Балабурда.

Мне это показалось обидно. На столе лежала сдача – по-
лового за горячими кренделями и за махоркой посылали. Я
взял пятиалтынный и на глазах у всех согнул его пополам –
уроки Китаева – и отдал Балабурде:

– Разогни-ка!

Дико посмотрели на меня, а Балабурда своими огромны-
ми ручищами вертел пятиалтынный.

– Ну тя к лешему, дьявол! – и бросил.

Петля попробовал – не вышло. Тогда третий, молодой малый, не помню его имени, попробовал, потом закусил зубами и разогнул.

– Зубами. А ты руками разогни, – захохотал Улан.

Я взял монету, еще раз согнул ее, пирожком сложил и отдал Балабурде, не проронив ни слова. Это произвело огромный эффект и сделало меня равноправным.

Пили, ели, спросили еще два штофа, но все были совершенно трезвы. Я тогда пил еще мало, и это мне в вину не ставили:

– Хошь пьешь – не хошь, как хошь, нам же лучше, вина больше останется.

Пили и ели молча. Потом, когда уже кончали третий штоф и доедали третью яичницу, Костыга и говорит, наклонясь, полусшепотом:

– Вот што, робя! Мы станицу затираем. Идете с нами?

– Какая сейчас станица, ежели пароходы груз забрали. А ежели сунуться куда вглубь, народу много надо... Где его на большую станицу соберешь? – сказал Петля.

– Опять холера... теперь никакие богатства ни к чему – а с деньгами издыхать страшно.

– А ты носи медный пятак на гайтане, а то просто в лапте, никакая холера к тебе не пристанет... – посоветовал Костыга. – Первое средство, старинное... Холера только меди и боится, черемшанские старики сказывали.

Как-то на минуту все смолкли. А Петля нам вдруг:

– Брось станицу! Поступай к нам в артель крючничать.

– А ну вас! Пойду я крючничать! – рассердился Костыга.

– Ишь ты какой. Почистище тебя крючничают. У нас сам Репка за старшего.

– Как, Репка?! – И Костыга звякнул кулачищем по столу так, что посуда задрогала.

– Да так, сам атаман Репка... – подтвердили слова Петли его товарищи.

И выяснилось, что Петля встретил Репку весной в Самаре, куда он только что прибыл из Сибири, убежав из тюрьмы, и пробирался на Черемшаны, где в лесу у него была зарыта «поклажа» – золото и серебро. Разудалый Петля уговорил его «веселья для ради» поехать в Рыбну покрючничать – «все на народе», – а на зиму и в скит можно. И вот Репка и Петля захватили с собой слонявшегося по пристани Балабурду, добывшего где-то даже паспорт, подходящий по приметам, и все втроем прибыли в Рыбинск. В Рыбинске были хозяйские артели грузчиков, т. е. работали от хозяина за жалованье. К хозяевам обращались судовщики с заказом выгружать хлеб, который приходил то насыпью в судах, а то в кулях и мешках. В артелях грузчиков главной силой считались «батыри»; их обязанность была выносить с судна уже готовые кули и мешки на берег. Сюда брались самые ловкие и самые сильные: куль муки 9 пудов, куль соли 12 пудов и полукуль 6 пудов. Конечно, хозяева брали львиную долю и

наживали с каждого рабочего иногда половину его заработка. Работать от хозяина Репке было не к лицу: он привык сам верховодить и атаманствовать над удалыми станицами и всю добычу рискованных набегов поровну тырбанить между товарищами. Собрал он здесь при помощи Петли и Балабурды человек сорок знакомых бурлаков и грузчиков, отобрав самых лучших, головку, основал неслыханную дотоль артель, которая работает скорее, берет дешевле, а товарищи получают вдвое больше, чем у хозяина. Репка, получая с хозяина деньги, целиком их приносит в артель и делит поровну и по заслугам: батыри, конечно, получают больше, а засыпка и выставка⁴, у которых работа легкая, – меньше. И сам он получает столько же, сколько батырь, потому что работает наравне с ними, несмотря на свои почти семьдесят лет, еще шуточки шутит: то два куля принесет, то на куль посадит здорового приказчика и, на диво всем, легко сбежит с ним по зыбкой сходне... Артель Репки щеголяла и наружным видом: на всех батырях были жилетки красного сукна, обшитые то золотым, то серебряным, смотря по степени силы, галуном, а на спине сафьянные кобылки, на которые ставили куль. Через плечо у каждого железный крюк. Артель Репки держалась обособленно, имела свой общий котел и питалась лучше всех других рабочих. Попасть в эту артель было почти невозможно. Только когда разыгралась холера, пришлось до-

⁴ Засыпка – хлеб в кули насыпает, а выставка – уставляет кули, чтобы батырю брать удобно.

бавлять народу. Вот в эту-то артель нам и предложили вступить... Костыга и Улан сперва отказались, хотя имя Репки заставило задуматься удал-добрых молодцев. Но и это, пожалуй, не удержало бы Костыгу, уже нашего атамана, и быть бы мне в разбойной станице – да только несчастье с Репкой спасло меня от этого.

Далее нам Петля рассказал, что на Репку, конечно, взъелись все конкуренты-хозяева, которых рабочие начали попрекать новой артелью, и лучшие батыри перешли в нее. Нашлись предатели, которые хозяевам рассказали о том, кто такой Репка, и за два дня до нашего привода в Рыбинск Репку подкараулили одного в городе, арестовали его, напав целой толпой городских, заключили в тюремный замок, в одиночку, заковав в кандалы. И постановили старые его товарищи и станишники – во что бы то ни стало вызволить своего атамана. Через подкуп писаря в тюрьме узнали они, что Репку отправят в Ярославль только зимой, чтобы судить в окружном суде. И постановили его выручить, а для этого продолжали вести артель, чтобы заработать денег, напасть на конвой и спасти своего атамана. Только тут Костыга отложил свою затею. Мы поступили в артель. Паспортов ни у кого не было, да и полиция тогда не смела сунуться на пристани, во-первых, потому, чтобы не распугать грузчиков, без которых все хлебное дело пропадет, а во-вторых, боялись холеры. Кроме Репки, – и то в городе взяли его, – так никого из нас и не тронули.

Дня через три я уже лихо справлялся с девятипудовыми кулями муки и, хотя первое время болела спина, а особенно икры ног, через неделю получил повышение: мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно... По завету Репки не пили сырой воды и пива, ничего, кроме водки-перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактире только яичницу, и в нашей артели умерло всего трое – два засыпки и батырь не из важных. Зарботки батыря первой степени были от 10 до 12 рублей в день, и я, при каждой получке, по пяти рублей отдавал Петле, собиравшему деньги на побег атамана. Да я никакого значения деньгам не придавал, а тосковал только о том, что наша станица с Костыгой не состоялась, а бессмысленное таскание кулей ради заработка все на одном и том же месте мне стало прискучать. Да еще эта холера. То и дело видишь во время работы, как поднимают на берегу людей и замертво тащат их в больницу, а по ночам подъезжают к берегу телеги с трупами, которые перегружают при свете луны в большие лодки и отвозят через Волгу зарывать в песках на той стороне или на острове.

Только и развлечения было, что в орлянку играли. Припомню один веселый эпизод из этой удалой нашей жизни среди кольца смерти. От двенадцати до двух было время обеда. На берегу кипели котлы, и каждая артель питалась осо-

бо. По случаю холеры перед обедом пили перцовку. Сядем, принесут четвертную бутылку и чайный стакан. Как только сели артели за обед, на берегу появлялся огромный рыжий козел, принадлежавший пожарной команде. Козел был горький пьяница. Обыкновенно подходит к обедающим в то время, когда водку пьют, стоит, трясет бородой и блеет. Все его знали и первый стакан обыкновенно вливали ему в глотку. Выпьет у одних, идет к другой артели за угощением, и так весь берег обойдет, а потом исчезает вдребезги пьяный. И нельзя было не угостить козла. Обязательно первый стакан ему, – а не поднести – налетит и разобьет бутылку рогами.

Куда бы повернула моя судьба – не знаю, если бы не вышло следующего: проработав около месяца в артели Репки, я, жалея отца моего и мачеху, написал им письмо, в котором рассказал в нескольких строках, что прошел бурлаком Волгу, что работаю в Рыбинске крючником, здоров, в деньгах не нуждаюсь, всем доволен и к зиме приеду домой.

Как-то после обеда артель пошла отдыхать, я надел козловые с красными отворотами и медными подковками сапоги, новую шапку и жилетку праздничную и пошел в город, в баню, где я аккуратно мылся, в номере, холодной водой каждое воскресенье, потому что около пристаней Волги противно да и опасно было по случаю холеры купаться. Поскорее вымылся, переоделся во все чистое и в своей красной жилетке с золотым галуном иду по главной улице. Вдруг шагах в двадцати от меня из подъезда гостиницы сходит на тротуар знако-

мая фигура: высокий человек с усами, лаковые сапоги, красная рубаша, шинель внакидку и белая форменная фуражка. Я, не помня себя от радости, подбегаю к нему:

– Папа, здравствуй!

Он поднял вверх руки и на всю улицу хохочет:

– Ах, черт тебя дерит! Вот так мундир! Ну и молодчик!

Мы обнялись, поцеловались и пошли к нему в номер.

– Я только что приехал и тебя искать пошел.

Отец меня осматривал, ощупывал, становил рядом с собой перед зеркалом и любовался:

– Ну и молодчик!

Заказали завтрак, подали водки и вина.

– Я уже обедал. Сейчас на работу... Пойдем вместе!

– Ну, это ты брось. Поедем домой. Покажись дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду. Ведь ты и без всякого вида живешь?

– На что мне вид! Твоей фамилии я не срамлю, я здесь Алексей Иванов.

– Умно. Ну, закусим да и поедем.

Я в чистом номере, чистый, в перспективе поездка на пароходе, чего я еще не испытывал и о чем мечтал.

– Ладно, поедем. Только сбегаю, прощусь с товарищами, славные ребята, да возьму скарб из мурьи.

– Плюнь на скарб! Товарищи не хватятся, подумают, что сбежал или от холеры умер.

– Там у меня сотенный билет в кафтане зашит.

– Ну и оставь его товарищам на пропой души. Добром помянут. А пока пойдем в магазин купить платье.

Пошли. Отец заставил меня снять кобылку. Я запрятал ее под диван и вышел в одной рубашке. В магазине готового платья купил поддевку, но отцу я заплатить не позволил – у меня было около ста рублей денег. Закусив, мы поехали на пароход «Велизарий», который уже дал первый свисток. За полчаса перед тем ушел «Самолет».

Вдруг отец вспомнил, входя на пароход:

– А ведь красную жилетку твою забыли!.. Куда ты ее засунул? Я не видал...

– Да под диван.

– Экая жалость! Навек бы сохранил дорогую память.

Мы сидели за чаем на палубе. Разудало засвистал третий. Видим, с берега бежит офицер в белом кителе, с маленькой сумочкой и шинелью, переброшенной через руку. Он ловко перебежал с пристани на пароход по одной сходне, так как другую уже успели отнять. Поздоровавшись с капитаном за руку, он легко влетел по лестнице на палубу – и прямо к отцу. Поздоровались. Оказались старые знакомые.

– Садитесь, капитан, чай пить.

– С удовольствием... Никак отдышаться не могу... Опоздал... И вот пришлось ехать на этом проклятом «Велизарии»... А я торопился на «Самолет». Никогда с этим купцом не поехал бы... Жизнь дороже.

– А что?

– Не знаете?

В это время был подан третий стакан для чаю. Отец нас познакомил:

– Капитан Егоров.

Продолжался разговор о «Велизарии». Оказывается, пароход принадлежит купцу Тихомирову, который, когда напьетса, сгоняет капитана с рубки и сам командует пароходом, и во что бы то ни стало старается догнать и перегнать уходящий из Рыбинска «Самолет» на полчаса раньше по расписанию, и бывали случаи, что догонял и перегонял, приводя в ужас несчастных пассажиров.

– Шуруй! Сала в топку! Шуруй!

Неистово орет с капитанского мостика. Пароход содрогается от непомерного хода, а он все орет:

– Шуруй! Сала в топку!

На его счастье оказалось, что Тихомиров накануне остался в Ярославле, и пассажиры успокоились...

Мы мило беседовали. Отец рассказал капитану, что мы были в гостях в имении, и, указав на меня, сказал:

– Все лето рыбачил да охотился сынок-то, видите, каким арабом стал.

И тут же добавил, что я вышел из гимназии и не знаю еще, куда определиться.

– Да поступайте же к нам в полк, в юнкера... Из вас прекрасный юнкер будет. И к отцу близко – в Ярославле стоим.

После недолгих разговоров тут же было решено, что мы

остановимся в Ярославле, и завтра же Егоров устроит мое поступление.

– Вот хорошо, что вы опоздали на «Самолет», а то я никогда и не думал быть военным, – сказал я.

– Кисмет! – улыбнулся Егоров.

Он служил прежде на Кавказе и любил щегольнуть словечком.

– Да-с, кисмет! По-турецки значит – судьба.

«Кисмет!» – подумал и я и часто потом вспоминал это слово:

«Кисмет».

Я сидел один на носу парохода и смотрел на каждое еще так недавно исшаганное местечко, вспоминал всякую мелочь, и все время неотступно меня преследовала песня бурлацкая:

Эх, матушка Волга,
Широка и долга,
Укачала-уваяля,
Нашей силушки не стало...

И свои кое-какие стишинки мерцали в голове... Я пошел в буфет, добыл карандаш, бумаги и, сидя на якорном канате, – отец и Егоров после завтрака ушли по каютам спать, – переживал недавнее и писал строку за строкой мои первые стихи, если не считать гимназических шуток и эпиграмм на

учителей... А в промежутки между написанным неотступно врывалось:

Укачала, уваляла
Нашей силушки не стало...

Элегическое настроение иногда сменялось порывом. Я вскакивал, прыгал наверх к рулевому, и в голове бодро звучало:

Белый пудель шаговит, шаговит...

И далее, в трудные миги моей жизни, там, где требовался подъем порыва, звучал бодряще и зажигал «белый пудель», а «черный пудель» требовал упорства и поддерживал настроение порыва...

Вот здесь, в тальниках, под песчаной осыпью схоронили вятского паренька... Вот тут тоже закопали... Видишь знакомые места, и что-то неприятное в голове... Не сообразить... А потом опять звучит: «Черный пудель шаговит, шаговит...»

С упорством черного пуделя я добивался во время путины, на переменах и ночевках у всех бурлаков – откуда взялся этот черный пудель. Никто не знал. Один ответ:

– Испокон так поют.

– Я еще молодым ее певал, – подтвердил седой Кузьмич, чуть не столетний, беззубый и шамкающий. Он еще до На-

полеона в лямке хаживал и со всеми старыми разбойничьими атаманами то дрался за хозяйское добро, то дружил, как с Репкой, которого уважал за правду. И теперь он, бывший судовой приказчик, каждую путину от Утки-Майны до Рыбинска ходил на расшиве. Он только грелся на солнышке и радовался всему знакомому кругу. Старик хозяин, у отца которого еще служил Кузьмич, брал его, одинокого, с собой в путину, потому что лучшего удовольствия доставить ему нельзя было. Назад из Рыбинска до Утки-Майны оба старика спускались в лодке, так как грехом считали ездить «на нечистой силе, пароходе, чертовой водяной телеге, колеса на которой крутят души грешных утопленников».

* * *

– Так искони веки вечинские пуделя пели! Уж очень-но подручно: белый – рванешь, черный – устроишься... И пойдешь, и пойдешь, и все под ногу.

– Так, но меня интересует самое слово пудель. Почему именно пудель, а не лягаш, не мордаш, не волкодав...

– Потому что мордаши медведей рвут за причинное место, волкодавы волков давят... У нашего барина такая охота была... То собаки, – а это пудель.

– Да ведь пудель тоже собака, – говорю.

– Ка-ак?.. А ну-ка, скажи еще... Я недослышал...

Разговор происходил в яркий, солнечный полдень. На го-

рyчем песке грел свои старые кости Кузьмич, и с нами сидел его старый друг Костыга и бывалый Улан. Улан курил трубку, мы с Костыгой табачок костромской понюхивали, а раскольник Кузьмич сторонился дыму от трубки: «нечистому ладан возжигаеть», – говорил Улану, а нам замечал, что табак – сатанинское зелье, за которое нюхарям на том свете дьяволы ноздри повыжгут, и что этого зелья даже пес не нюхает... С последним я согласился и повторил старику, что пудель – это собака, порода такая. Оживился он, задергался весь и говорит.

– Врешь ты все! Наша песня исконная, родная... А ты ко псу применяешь. Грех тебе!

– Что-то, Алеша, ты заливаешь. Как это, песня – и пес? – сказал Костыга.

Но меня выручил Улан и доказал, что пудель – собака.

И уж очень грустил Кузьмич.

– Вот он, грех-то! Как нечистый-то запутал! Про пса смердящего пели, – а не знали...

Потом встрепенулся:

– Врешь ты все... – и зашамкал, помня мотив: – Белый пудель шаговит...

И снова, отдохнув, перешел на собачью тему:

– Вот Собака-барин, так это был. И сейчас так перемена зовется к Костроме туда, Собака-барин.

Кто не знает Собаку-барина!

Старики бурлаки еще помнили Собаку-барина. Называли

даже его фамилию. Но я ее не упомянул, какая-то неяркая. Его имение было на высоком берегу Волги, между Ярославлем и Костромой. Помещик держал псарню и на проходящих мимо имения бурлаков спускал собак. Его и прозвали Собака-барин, а после него кличка так и осталась, перемена – Собака-барин!

Я писал, отрывался, вспоминал на переменах, как во время дневки мы помогали рыбакам тащить невод, получали ведрами за труды рыбу и варили «юшку»... Все вспоминалось, и лились стихи строка за строкой, пока не подошел проснувшийся отец, а с ним и капитан Егоров. Я их увидел издали и спрятал бумагу в карман.

После, уже в Ярославле, при расставании с отцом, когда дело поступления в полк было улажено, а он поехал в Вологду за моими бумагами, я отдал ему оригинал моего стихотворения «Бурлаки», написанного на «Велизарии».

Грубовато оно было, слишком специально, много чисто бурлацких слов. Я тогда и не мечтал, что когда-нибудь оно будет напечатано. Отдал отцу – и забыл. Только лет через восемь я взял его у отца, поотделал слегка и в 1882 году напечатал в журнале «Москва», дававшем в этот год премии – картину «Бурлаки на Волге».

А когда в 1894 году я издал «Забытую тетрадь», мой первый сборник стихов, эти самые «Бурлаки» по цензурным условиям были изъяты и появились в следующих изданиях

«Забытой тетради»...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.